

# Каринэ АРУТЮНОВА

## ПАДАЕТ СНЕГ, ЛЕТИТ ПТИЦА

*В смутные времена ценность обретает самое, казалось бы, простое. Баночка черной туши, перо, лист бумаги, скрип пера по бумажному листу, эффект от соединения туши и воды, тишина, полумрак, скудное вечернее освещение за окном, концентрация на том, что здесь и сейчас. Нет чрезмерных ожиданий, страстей, нет разочарования. Отпущены (хотя бы на час) страх и тоска по чему-то такому, чего не может быть. Ничего этого нет. Радуйся отточенности линии, ведущей в никуда. Насладись одиночеством. Тишиной. Отдайся простоте ритуала. Отсутствию других цветов и оттенков. Забудь о цели, задаче, следствии. О поводе и причине.*

*Ритуал всегда надежен. Для самых смутных времен одно неизменно, — коробочка с перьями, баночка черной туши, плотный лист белой бумаги.*

*Все остальное — от лукавого. По крайней мере сейчас.*

## НА УЛИЦЕ ЗАКОЛДОВАННОЙ РОЗЫ

*Подобно костяной пуговице, закатившейся под шкаф и найденной через энное количество*

*лет, — улица, выныривающая из-под трамвая, и сам трамвай, выныривающий из-за угла, — возвращают меня туда, в далекие и уютные времена, когда мир был для меня Подолом, а Подол — миром.*

## Диалог

За распахнутым окном едва слышна мелодия.

Фортепианная. Знакомо ли вам это щемящее чувство от внезапно услышанного, почти неуловимого, ускользающего. И осознание того, что невозможно удержать в пальцах ни истаивающую мелодию, которая обрывается, вот-вот оборвется, ни этот пасмурный день, или даже вечер, обманчивое спокойствие которого обволакивает, усыпляет, — ненадолго, ненадолго, — вздыхает стоящий в углу развороченный чемодан, — ненадолго, ненадолго, — капает дождь, взвизгивают тормоза, — клавиши невидимого инструмента как будто несколько западают, запаздывают, останавливаясь в некотором раздумье, а после — скатываются, ошеломляя подробностью звука, — похоже, некто разучивает пьесу, не подозревая о том, что, отрываясь от клавиш, звук уносится вверх, в окна десятого этажа, пробуждая десятки ассоциаций, образов, ощущений у стоящего возле

— вот и подходит к завершению импровизированное путешествие, напоминающее эту пьесу, — доносящиеся снизу, или же слева, а, может быть, даже справа, незавершенные, вырванные из контекста фразы, слова, из которых не сложишь внятной истории. Да и, пожалуй, не стоит.

## Начало

Когда-то я уже говорила о том, что август — мой любимый месяц. Еще можно не окончательно задумываться, или временно отогнать мысли о подведении итогов. Август — время пожаров, влюбленностей, месяц мучительно, самозабвенно прекрасный.

Сентябрь не то. Сентябрь по инерции хочется догулять, насладиться всем, упущенным в августе, — ах, эта обманчивая легкость, иллюзия бессмертия, — все это сентябрь, сентябрь, такой же жарко-исступленный, как август.

Одна маленькая разница. Это не август.

И мысли возвращаются к отложенному месяцу тому назад. Уходит блаженное безвременье, хочется погладить воротничок и пришить манжеты. Но их нет, их нет, и огненное колесо сентябрьского жара летит, вращается, — я бегу, хватаю раскаленный (но уже приправленный горчинкой)

воздух, зализываю раны, полученные под созвездием жестокосердой девы (я так и вижу ее, затянутую в корсет, эту строгую классную даму, помахивающую указкой перед моим беспечным носом), — подсчитываю убытки, произвожу подсчет, и неизбежно оказываюсь там, откуда, собственно, все начиналось.

Я вновь прихожу к началу. Сентябрь сентябрю рознь. Но отчего же именно в сентябре так тянет в области сердца, откуда этот озноб, — предвестник чего-то такого, что сложно предотвратить и невозможно избежать. Ах, да. Начало. И все, что предшествует ему, — тысяча маленьких и больших смертей, — на пользу. Ведь невозможно родиться, отрицая обратное.

## **Искусство монтажа**

Для них все это вчерашнее, — вчерашний день, вчерашний суп, вчерашние истории. Это как рыться в старых вещах. Их ясный взгляд устремлен в будущее. Там, в будущем, не будет места (по их мнению) вчерашнему.

Он бьет копытами, ноздрями ощупывая воздух. Вот уже и лето почти вчера, и солнце устало опускается (за крыши домов, за деревья), и «завтра» все отчетливей предъявляет права, обесценивая значимость сиюминутного.

Что говорить о событиях двадцати и тридцатилетней давности, их ценность подвергается сухому анализу, бесстрастному взгляду, — о чем это вы, господа, о каком подтексте идет речь в мире обезоруживающей конкретики, непреложных фактов, развернутых комментариев и комментариев комментариев?

Он усмехается, и жирное слово «франшиза» ползет по экрану, мохнатыми лапками цепляясь за периферию взгляда, — у нас договор, сроки, почасовая оплата, удаленная работа, а вы мне о паузе, о кадре, который вбирает в себя неспешность приближающихся сумерек, силуэт сидящей на скамье, ее профиль, сложенные на коленях безвольные руки, голубоватые запястья, пальцы в нетерпении мнут и разглаживают тончайший (с вышитыми в уголке инициалами) платок, — смятение невозможно проскочить, проглотить, — смятение — это безотчетное чувство, овладевающее героиней неторопливо, — такт в такт, — слушайте дыхание, если убрать все звуки, то вы услышите, как она дышит, — вздымается грудь, — отставить крупный план, пусть только намек, камера не спеша подбирается к опущенным векам, к трепещущим крыльям носа, по-прежнему сохраняя дистанцию, позволяющую прожить, пе-ре-жить, растянуть это ожидание, — вот так, с каждым последующим вдохом и выдохом мы

расстаемся с надеждой на, и вновь обретаем ее (вопреки здравому смыслу), — здравый смысл оставьте потомкам, нам же необходима чистота эксперимента, пауза, расстояние, предшествующее всякому сближению, — должна сказать, что сближения как такового вы не увидите, апофеозом будет неопределенность, и даже некая дымка разочарования, на дне которого расходящиеся спасательные круги пресловутой надежды, — о какой франшизе речь, — нам нужен запах, ритм — кадр это музыка, без ритма он скорее мертв, нежели жив, и даже качественное изображение не заменит треска и шипения патефонной иглы, безыскусности старых снимков, — из той, пленочной еще эпохи, не подозревающей об устрашающей бесконечности повторяющего самое себя изображения, о безусловном торжестве фильтра и фотошопа, — оно не заменит подробности (и благословенной небрежности) складок, игры теней и полутеней, в сквозящем (вполоборота повернутом профиле) нетерпении, муке, итак, — запах, звук, ритм, нечеткость и в то же время достоверность, подробность деталей, — старая пленка раздвигает границы памяти, — так о чем же фильм, — в двух словах — на три у нас нет времени, и средств тоже нет, пауза — слишком дорогое удовольствие, смятение мы убираем, — к чему этот зыбкий свет, все эти иносказания, недоговоренности, — он

упорно пускается в воспоминания, точно в глубокие воды, — волна несет туда, в кадры отснятой хроники, мелькают лица, обрывки разговоров, снятая телефонная трубка, металлический диск, пробивающиеся в паузах радиоволны («Проминь», «Маяк», вездесущие румыны со скрипками, все эти бесконечные дойны, их сложно заглушить и перепеть, румыны это предел, за которым скрываются сокровища свободного во всех смыслах мира) — наконец, лицо его разглаживается, светлеет, но кто-то решительно берет микрофон, и жирное слово «франшиза», четкий, не допускающий полутонов и оттенков звук... тот самый момент, когда зажигается свет в кинозале, и скучное слово «конец» проступает на блекнущем экране, лишая последней иллюзии и обманчивой перспективы взгляда, обращенного вглубь.

## **На улице Заколдованной Розы**

Это сейчас меня корежит при одном упоминании. Тогда же однообразие ничем особо не примечательных улиц и стоящих на них пятиэтажек-хрущевок ничем не смущало. Ведь не придет вам же в голову роптать на то, что родились вы на альфа-центавра, а не альфа омега или пси?

Зима была вовсе не серой и унылой, напротив, она казалась (и была) скрипучей и пушистой, ну, а лето обещало и, главное, исполняло обещанное.

Радовало все. Палисадник ближний и палисадник дальний, осваиваемые постепенно, дюйм за дюймом, выложенные бетонными плитами дорожки между ними, выходящие на сторону гастронома и шоссе окна. Проезжающие автобусы. Сам, собственно, гастроном, с его нехитрыми запахами, — свежего хлеба, квашеной капусты, подгнившего буряка, сельди, пота (кто слышал о дезодорантах в те далекие времена?). В гастрономе ожидал главный сюрприз — непременно стакан яблочного сока (или томатного), в зависимости от. А уж после выпитого... как весело гулялось по главному скверу с высаженными равномерно тополями, — школьные заботы еще не отягощали, солнце припекало, но не жалило сквозь белую, облегающую голову панамку. Как весело шагалось вдоль клумб и подъездов, откуда тянулся шлейф пугающих запахов и предчувствий, — каждый подъезд обладал своим, с преобладающей нотой дешевой масляной краски — ею выкрашены стены ровно до половины поверх побелки, и из каждой двери — запахи обедов, болячек, немощи. Еще не омерзительными кажутся они, а пока только озадачивающими, захлестывающими первобытным ужасом небытия, — чужой подъезд, точно воронка,



засасывает, — чужие звуки пугают, наощупь ты пробираешься к спасительному источнику жизни — ее в избытке там, за распахивающейся дверью, — тут точность удара ноги в сочетании с силой обеих рук, — немного поднажать, и брызги солнечного света слепят, страх отступает вместе с мраком и подвальным гнусом. Дарованы часы деятельного безделья, отсюда бесконечным кажется оно, блаженным, исполненным предвкушения, неведения относительно сроков пребывания в Эдеме, — сад полон райских яблок и жестких груш-дичков, в нем дикий виноград опоясывает балкон, — еще пару лет, и можно будет лакомиться остро-кислыми, будто взрывающимися во рту ягодами, — укрывшись в тени разросшейся лозы, вращать калейдоскоп, изумляясь многообразием и неповторяемостью каждого дня.

«...В жизни всегда есть плюс и минус, видишь ли», — случайный голос за окном способствует отрезвлению и молниеносному переходу из мира беспорядочных сновидений в бодрствующий, но не менее хаотичный.

Из подвала тянет сыростью, — еще один признак близкой весны. Помимо птичьего пения и обостренного обоняния, которое для утонченных натур отнюдь не дар. За окнами — чавканье мокрых подошв, стрекотание лап и голоса.

Голос на редкость мягок, доброжелателен, боже мой, какой музыкой может быть речь. Без привычного беззлобного матерка, без пьяного мычания, без бодрого «отдай ключи, па#ла», — видишь ли, душа моя, во всем есть плюс и минус, — носитель чарующей интонации удаляется вместе с голосом, унося тайну мироздания с собой, — все эти «мы не властны над», «послушай, дружок, а сейчас я расскажу тебе сказку», — волшебство начиналось с первых тактов, с внезапного щелчка, с поскрипывания и шипения иглы, протертой трепетно, допустим, одеколоном «Весна», — послушай, дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, — сверчок, хозяин музыкального магазинчика, пан Такой-то, овладевал вниманием со знанием дела, с вкрадчивой неторопливостью гурмана, — исполнением желаний звучали названия улиц — Заколдованной розы, Миндальной, Клетчатой, Канареечной и даже Полевой мыши. «Пан Теофас носил костюм коричневого цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких цветочках», — стоит ли говорить о том, что в нашей с вами тогдашней реальности мало кто мог похвастать хипстерскими жилетками и пиджаками «от...», — но интонации все же были, в них можно было кутаться, точно в клетчатый плед из ангоры, — журчащая с заезженной пластинки доброта вплеталась в уют того самого двора (за

аркой), пока еще пребывающего в блаженном неведении относительно недалекого будущего, относительно недалекого, — пока еще не подозревающего о реальности пластиковых окон и беспроводного интернета, — еще не разлетевшиеся по букинистическим лавкам добротные корешки выстроены вдоль прочных стен, еще скрипят дверцы, — в них нафталиновые шарики перекатываются, охраняя от вторжения вездесущей моли, — у нас хорошие новости, панове, — с молью мы справились, у нас больше нет моли, как нет комода (хотя отчего же нет? зайдите в «метроград» на Толстого), стен, и, собственно, времени, — оно не течет привольно, а нарезается скупой, фрагментами, особенно ценятся обрезки, в них самый цимес, — украденное у самих себя откладывается «про запас», — помните это» «однажды»? «когданибудь»? — оно преследует смутной тоской, брожением, это отложенное на «когда-нибудь» время, изорванные лоскуты имеют странное свойство, — трансформироваться в горсть бесполезного тряпья, кучу хлама, черепки, осколки, труху, пыль, — выигранное в жестокой схватке время уходит на бесконечную борьбу с пылью, — бесконечность — это пыль, усердно сметаемая веничком, дружок мой, — тлен, прах, — загляни под диван, буфет и книжный шкаф — видишь ли, душа моя, в жизни всегда есть место плюсу и,

конечно же, минусу, добру и злу, любви и отсутствию ее, — банальные сентенции, вползая в форточку, обретают новое измерение, — со временем («о, это пресловутое» со временем), — с каждым днем мы постигаем обратную сторону бесконечности, хрупкость, изменчивость постоянных, казалось бы, величин, условность обстоятельств, изнанку часов и минут, — но стоит закрыть глаза, и говорящие на странном наречии сверчки распахивают двери, и улица Миндальная перетекает в Канареечную, с нее идет трамвай, — щелчок, шорох, скрип, — так скрипят дверцы комода, шуршат книжные листы, струится пыль, разматывается время, — я вновь там, на улице Заколдованной Розы, вслушиваюсь в неторопливое «в одном городе, в каком, я вам не скажу...»

\* \* \*

А потом, знаешь, все-таки, окна Подола немножко другие, в них хочется заглядывать, — привстав на цыпочки, высматривать нечто умиротворяющее, отличное от иного жития-бытия образца пятнадцатого года, пускай с тем же пыльным фикусом или обленившимся кошачьим боком, но иное, — как будто, запуская нескромный взгляд в подольское закулисье, пытаешься отыскать самое себя.

Помножим высоту потолка на окружность кружевной салфетки, скрывающей шероховатость буфета, извлечем корень из монотонной капли, темнеющих провалов, наполненных дождевой водой, скудного освещения, скученности автомобилей, и получим вырезанный из стены кадр, за ним еще и еще один, и вот уже случайный кот, выпуская хищные коготки, обретает имя, а книжные корешки выгибаются навстречу поглаживанию детских пальцев, — в уютной тишине скрежет ожившего часового механизма приводит в движение механизмы гораздо более сложные, изощренные, — и вот уже далекий вечер приближается, выныривает из небытия, раскрывается, точно читанная не раз книга, — отнюдь не на самом захватывающем, а как раз обыденном, но от того не менее ценном.

Прежде всего, звук, а за ним и запах, — тогда жизнь пахла и звучала иначе, не так ли? — восторг новизны каждого дня, шелест развертываемой книжки, ее желтеющих листов, тихое покашливание, бубнеж радио за стеной, едва различимый сквозь сон и толстый настенный ковер. Вплетаясь в сложную вязь узора, он становился частью сна, — там круглая лампа, покачиваясь, согревала янтарным теплом, поток воздуха поступал из распахнутых пока еще ставен, за которыми окна, покрываясь испариной, отражали

уличный свет, змеился кошмарами коридор, ведущий к ущербным ступенькам, и длинное слово «ангина» проступало из тьмы, томило и плавилось, отзываясь болезненным подергиванием в распухших миндалинах, нарастающим жаром и обжигающим холодом чужих рук.

Вторжение чужого или чужой в мир вздыбленных одеял и разбросанных как попало подушечек-думочек казался кощунством, — по крайней мере, проснувшейся мне, обостренно отличающей резкий запах вошедшего с докторским саквояжем, — пахло аптекой, зеленкой, уколom, нашатырем, и сдвинутые округлые колени, облитые глазурью капрона, внушали почти что ненависть, — тогда, в безымянный дождливый день, за которым и даты не закрепились, — всего-то и нужно было, что выставить чужого, вырезать из мизансцены, стереть самое воспоминание о нем, и благообразие восстановленной по крупницам картины мира торжествовало, — обложенная со всех сторон подушками, я милостиво соглашалась на горячее молоко, сдобренное медом и брусочком сливочного масла

Окна Подола уже не мои, — чужая жизнь вторгается во владения памяти, — она не ждет добровольного выселения старых жильцов, — подталкивая, швыряет вслед узлы, набитые

ненужной утварью... бесцеремонно визжа тормозами, пробуждает от долгого счастливого сна.

Я помню, как скрипели половицы там, в старом доме на Притисско-Никольской.

Память — удивительная штука, — иные события, порой даже трагические и судьбоносные, красочные и волнующие, она отторгает, оставляя мозаику в виде пестрого краешка занавески, взлетающей и опадающей от апрельского сквозняка, не сквозняка, а так, вдоха и выдоха, освобожденного от унылых одежек начала весны, — от темнеющих луж, обнаженного асфальта, сваявшейся прошлогодней травы, — прозрачность и ясность воздуха, тяжесть зимней обуви, уже порядком разбитой, потрепанной, сырой.

Я помню, как скрипели половицы, — крашенные коричневой краской, они поскрипывали, — здесь, в старом подольском доме, звуки улицы таяли за плотно закрытыми ставнями, и дом погружался в особую тишину, — разве что скрип половиц и тиканье ходиков нарушали ее, — там не визжали тормоза, не гремели трамваи, — все это оставалось где-то далеко, а важным было то, что близко.

Амфитеатр двора с провалами окон, с кособокими ступенями, с неистребимым и тяжелым подвальным душком, — там тени обитали,

персонажи, — за крохотными подслеповатыми окошками, они передвигались, пугающе темные, безмянные, беззвучные, — словно это и был нижний этаж, оседающий, уходящий в небытие, вместе с приметами старого мира, а новый уже наступал, ковшом экскаватора перелопачивая землю, и она переворачивалась со стоном и утробным выдохом.

Мы возились в глубокой траншее на месте снесенного дома, выуживали трофеи в виде допотопных книг, кукольных туловищ, голов, предметов невнятного происхождения и применения, зато обладающих несомненными признаками тлена, разной степенью распада, — нас это смущало, конечно же, но любопытство оказывалось сильней отвращения, — выуженное на свет божий являлось свидетельством ушедшей под завалы атлантиды, со всем, что ее наполняло, — воодушевленная важностью происходящего, я рылась в малоаппетитной куче хлама, перелистывала отсыревшие книжные листы, воображая радость родителей при виде, допустим, толстого тома переписки Молотова со Сталиным, Ворошиловым или Микояном (сейчас сложно восстановить точность деталей, но запах отсыревших листов, припорошенных землей, я помню и сейчас). Извлеченное на свет бережно тряхивалось, протиралось краешком платя и



уносилось в сторону. Копышащая малышня с интересом наблюдала за выверенностью и уверенностью моих действий. Все во мне ликовало. В музей, боже мой, да в любом музее с руками оторвут этакую-то ценность! Шутка ли, ведь это дело государственной важности!

Вот, — прижав к груди драгоценную находку, неслась я к дому, в котором, собравшись за нарядным столом, чаевничали взрослые.

Вот, — с порога я протянула увесистый том и замерла в предвкушении шквала, ну, если не аплодисментов, то хотя бы некоторой заинтересованности, — тут... важное... письма Сталина, и еще, других, это документ, понимаете? Исторический! — убежденность моя таяла с каждым словом, а ликование, еще секунду тому назад плескавшееся сладкими волнами, угасло, — напротив, внезапное облако будто повисло за празднично накрытым столом, — дело происходило в подольском доме моей тети, — позвякивали ложечки, пахло свежесваренным чаем и сдобой, — ах, какой чай пили в доме моей тети, — из маленького, почти кукольного заварничка крепчайшая заварка разливалась по стаканам, и уже после заливалась крутым кипятком, — овальное блюдо являло взору десяток крохотных пирожков, начиненных вишней, — тут письма, редкий экземпляр, — невнятно пробулькала я, сглотнув

слюну, — ума хватило не положить книгу на стол, — могла ли я знать тогда об осквернении или нечистоте, но ощущение неуместности трофея пронзило меня. Неуместности с радушием этого дома, с поскрипыванием половиц, с текущей плавно беседой, с повернутыми ко мне улыбающимися лицами, с ароматом вишневой наливки и сладких пончиков.

— Ну ка, — мыть руки и за стол, — быстрее молнии метнулась я на кухню и там, отвернув кран с горячей водой, ожесточенно терла ладони бруском хозяйственного мыла, как будто пыталась смыть самое воспоминание о погребенных под грудой земли и песка свидетельствах небытия.

\* \* \*

Андреевский, точно капризная девушка, иногда исполняет обещания, а иногда — нет.

Откуда бы вы не шли — сверху — от Андреевской церкви (захватив до того Владимирскую горку), или снизу — с Контрактовой, с Сагайдачного, — вы уже, собственно, внутри. Не так давно я бестолково вертела головой, — вопрошая, — как, это уже Арбат? Тот самый? Где? Где он? (немного дребезжащий голос Окуджавы уводил в сторону, далеко далеко от того самого Арбата, который

посчастливилось созерцать). Андреевский тоже, впрочем, не тот. Подозреваю, что и двадцать лет тому назад кому-то он казался «не таким», — сколько раз умирают и возрождаются улицы, города, миры? Уходит полулегальное, затрапезное, — там подкрашено, там заколочено, там подштукатурено, там и вовсе вывернуто наизнанку в угоду праздному туристу, которому брелок заменяет память. Наступает полнота, если хотите, времен. Уходит под лед Атлантида. Сжимается кольцо. Память играет в поддавки, предлагая отретушированный эрзац вместо голой правды. Утренний Булгаков совсем непохож на вечернего, — отмечу, нечасто мне удавалось бывать здесь по утрам, — половицы поскрипывают, окна акварелью нежнейшей размыты, подышать разве что, и проступают картины одна сладостней другой, — будто по мановению волшебной палочки исчезают новостройки, лишь купола, склоны, прозрачность, синева, небеса барашками скатываются к самому Подолу, рукава

Боричева Тока раскинуты небрежно, вдоль швов ветер гоняет ворох листвы, усмехается Воланд, намекая на условность дат и времен, имен, наименований, так хочется бродить, по буквам растягивая звук, внимать шелесту, ветру, вывескам, влюбиться, наконец, намертво, в этот город, утро, день, познать его еще и еще раз, будто ненасытный

любовник, истерзанный чувственным томлением, — но ускользает утро, да и день утекает сквозь пальцы, унося лица, события, сны, и только ступенька, — вот эта, — видите? — глаза ее светятся, лицо молодеет, нечто экстатическое проступает в тонких морщинках вокруг глаз и подвижных губ, — это Его ступенька, нижняя и вон та, верхняя, — и только ступенька эта, пережив великое переселение народов, исчезновение империй, материков, стоит себе и стоит, держится.

Обещания памяти сладки, хотя не всегда выполнимы, обаяние спуска (а так же подъема) еще не умерло, не выцвело окончательно, — вот и Булгаков на скамье, и, господи, избави нас от пошлости, — от пришепетываний и придыханий до фамильярности — один шаг, — с бронзовых колен свешиваются прелестные девичьи ножки, схваченные ровным загаром, а бронзовые плечи обвивают, соответственно, ручки, — здесь делают селфи, выясняют отношения, признаются в любви, однако, классик и бровью не ведет, его отполированные чресла не дрогнут, и вряд ли его впечатлит экскурсия по его же квартире, набор открыток и заученных фраз, — множество раз перелицованное прошлое имеет право называться легендой, но что в ней осталось от жизни, увы, — похоже, перспектива вечного созерцания на бронзовой скамье в тени уютного дворика не

печалит нашего героя, а прикосновение юных дланей добавляет смысла в существование за пределами, — что нам мерцание лучей посмертной славы, — а вот и дождик ссыт на голову, и голуби пакостят, а на ступенях даос в индейском плеле гадают на рунах, у даоса лукавый миндалевидный глаз и армянская фамилия (в анамнезе Китай, Россия, — набеги татаро-монгольских племен приподняли выше положенного надбровные дуги, сузили веки, обозначили скулы), — что ж, жизнь продолжается и там, за заветной чертой, и Андреевский все же более жив, нежели мертв, просто жизнь его другая, и, если не озадачиваться сравнениями, не прикладывать прозрачные лекала к тускнеющему зрачку, то спуск и сегодня доставит немало, — прощайте, Михаил Афанасьевич, нас ждет Контрактовая, внизу расстилается Подол.

## У окна

Эта девушка, сидящая на подоконнике у окна с распахнутыми ставнями. Да, помимо стекол были ставни, либо наглухо задраенные (на время полуденной сiestы), либо распахнутые во двор. Окна первого этажа выходили на уютную площадку между домами, с мощным стволом акации в самом центре и мощной же кроной, образующей прохладную тень.

Подол. Подвальные помещения, зарешеченные окна, за окнами непременно кто-то жил, всегда жил, — какие-нибудь старушки, а то и целые семьи, — всегда казалось, что живут эти подвалы жизнью таинственной, непостижимой.

Вот я, допустим, идущая по улице с тетей, идущая по улице в красных ботинках и шапочке «лебединая верность», совершенно особенная девочка, нарядная, подпрыгивающая на одной ножке, предвкушающая катание на пароходу и обилие всяческих чудес, — например, покупку вязких огурчиков из теста либо сладкой же ваты, — я, живущая в замечательной пятиэтажке, на втором этаже с балконом, увитом листьями дикого винограда, с любопытством, со сладким замиранием заглядывала в окна с крошечными форточками, занавешенные желтоватыми занавесками, освещенные либо темные, — на окнах были решетки, но главное — оттуда тянуло... тяжелым, неистребимым, сырым и холодным.

Именно дух. Дух старого Подола. С запахами цветущих лип, речного вокзала, ладана, нафталиновых шариков, плесени. С запахами елочных базаров, первого снега, истаявающего на языке. Запах двора. Едкий — кошачий, острый — тарани, сладкий — клубничных пенек и приторного вишневого компота. Погреба, в котором чего только нет. Нагретой полуденным жаром железной

двери, о край которой я рассекла лоб. Раскидистой шелковицы, которая сама по себе соблазн, искушение... Тут и там возникающими колоритными фигурами батюшек, монашек, просто старушек, чаще согбенных, с бледными «подвальными» лицами, несущих на себе, в себе — этот самый «дух», невыветриваемый, живучий, вечный.

Ступенек было три, ровно три, — сбитых, продавленных, — налево по коридору располагалась довольно вместительная кухня, на которой всегда что-то происходило — некое действие, почти сатанинское, сопровождаемое адским кипением под алюминиевыми крышками. Чугунные сковородки висели в ряд, формой и значительностью соперничая с беспрестанно вещающей черной тарелкой. В тарелке всегда происходило важное. Например, гимн Советского Союза. Или радиоспектакль «Таня». Или нечто под гармонь, залихватское, притоптывающее, — либо продольное, горизонтальное, бескрайнее, как степь, привольное, как колхозное поле.

Это было очень правильно организованное пространство, — во всяком случае, мне оно казалось идеальным. Меня ждали. Меня всегда ждали.

Я была главный гость. Стоило проехать полгорода, чтобы стать центром Вселенной.

Центром Вселенной на улице Георгия Ливера, бывшей ПритискоНикольской.

А кто к нам пришел! — наскоро вытертые руки обнимали меня и вели по узкому коридору в дальнюю комнату. По мере моего продвижения справа и слева приоткрывались двери, — а кто к нам пришел! — важную гостью гладили по голове, угощали, привечали и всячески любили.

По дороге я успевала дотянуться до взъерошенной Муськиной спины. Муська была ангорской, легкой как пух. Правда, чуть позже она трансформировалась в тяжеловесного хищника, рыжего сибиряка, дамского угодника и редкого прощельгу.

В дальней комнате царил привычный полумрак. Ставни, как правило, были прикрыты, а большой и яркий свет зажигался во время вечернего чаепития.

Чаепитие было настоящим. С подстаканниками, синими блюдами, тяжелой сахарницей. Чай в стаканах обжигал губы и язык, — взрослые отдувались и потели, мне же позволено было прихлебывать из блюда.

Стол был огромным, стулья — с высокими спинками, кожаными сиденьями. Это были очень прочные стулья, сделанные на совесть. Все в этом доме было прочным. И у всего было свое место. У кушетки, у огромной печи, выложенной изразцами



цвета топленого молока. У маленьких тугих подушек-думочек. У настенных часов, которые показывали очень точное время. Время было безразмерным, медленным — оно разматывалось, точно огромный клубок, струилось, будто песок. У маленьких ходиков с гирькой. Ходикам полагалось быть несерьезными. Запаздывать, забегать вперед. Вздыхая, дед Иосиф взбирался на стул и подтягивал гирьку.

Корзина, картина, картонка, — напевал он, лукаво поглядывая в мою сторону. В третий раз «корзина» звучала как «Карина», — в этом месте я смеялась, давала ущипнуть себя за щеку, и все оставались довольны.

Картина тоже висела на своем месте. Это была правильная картина, изображающая сидящую на подоконнике кудрявую девушку с поджатыми к груди коленями. Возможно, девушка мечтала о чем-то недостижимом. Например, о любви. О прекрасном принце. О хрустальных башмачках и крепдешиновом платье на выпускной бал. Я долго смотрела на нее, очень долго, пока мне не начинало казаться, что эта девушка и я — одно целое. Целую вечность мы сидим вот так, и смотрим во двор, мечтательно прикрыв глаза.

За окном — зима, весна, лето. Сугробы вровень с окном, майские жуки, бельевые веревки, душевая кабинка. Шумные соседи. Фаина с пятого

этажа. Давид — ухо-горло-нос с третьего. Стук костяшек домино. Паутина под крыльцом, подвал, заколоченный досками, кошки, много кошек, разноцветных, разномастных, шныряющих, драчливых, дремлющих, загадочных, как сфинксы.

Через дорогу — трамвайная линия, будка сапожника, военная часть.

Скоро всего этого не будет.

Ходики, тикающие над моей головой, показывают настоящее время. Самое надежное в мире.

Над круглым столом вспыхивает лампа. Стол накрыт, и никто никуда не торопится. Чай слишком горячий, но для этого есть блюдце, — на дне его отражаются янтарные блики. Можно пить не торопясь, а потом подойти к окну, легонько потянуть за крючок.

Девушка с картины продолжает всматриваться вдаль. Похоже, она все еще ждет чего-то...

Еще немного, — она разомкнет сцепленные на коленях пальцы и опустит ноги на землю. И побежит. Интересно, как быстро умеют бегать мечтательные девушки с волнистыми волосами?

Я буду долго смотреть ей вслед и думать, что она — это я, а я — это она.

Пока не опустятся сумерки и не захлопнутся ставни.

## Тени

Здесь тени застыли, будто стрелки на циферблате, не в силах сдвинуться с места, только время, неумолимое время сдвигает их, проводя четкие линии, уходящие за крыши домов. Во двориках, за сумрачными арками, скрывается вожденная прохлада, но и туда врывается духота раскаленных улиц, проникает в окна, ударяясь о стены, покрытые многозначительными символами и узорами, — это время, это время, детка, — оседает фундамент, запахи въедаются, не выветриваются, — как и воспоминания о них, — пожалуй, они живут дольше нас, и возвращают в тот самый день и час, о котором мало кто помнит, — час или день твоей жизни, больше ничьей, с вплетенным в него орнаментом, никогда не повторяющимся, ни разу, — с гулом площади за спиной, с последним лучом солнца, полирующим и без того огнем горящие купола, — на улочках, стремительно взбегающих вверх, главное — дыхание, его должно хватить до самого конца, до верхней точки, на которой линии, пересекаясь, образуют новый уровень, со своими подъемами и спусками, дворами и стенами, — не стоит искать в этом дополнительный смысл, кроме того, что уже существует, — из пункта А в пункт Б, — главное,

дыхание, его должно хватить, и тогда наградой идущему будет вечный сквозняк Андреевского, волнительная окружность Пейзажной, — овраг, уводящий вглубь, — туда не проникает равномерный жар, там спасительная близость еще живой травы, не выгоревшей добела, там шум дубрав и шелест листьев, и близость следующего уровня, он называется Подол, — стрекочут швейные машинки, выделяется кожа, сохнет на перилах, прикидываясь диковиным зверем, там перелицовываются платья, там истории проступают из неровных стен, требуют внимания, тишины, там обувные картонки со старыми желтыми снимками хранятся в чуланах, там оплывает янтарная слеза, стекает по синей кайме нарядного блюда, там юные пастушки печалются за дверцами серванта, шанхайские болванчики покачивают круглыми головами, храня фарфоровые тайны под кожей сонных век, — там лица, голоса, жесты, за поворотом худая женщина ведет за руку девочку, в другой руке у нее узел, саквояж, еще узел, — она возвращается домой после долгого путешествия, слепые окна домов приветствуют ее, могильная прохлада подвалов, склоны, спуски, колокольный звон, расходящийся вширь, уходящий вглубь, обещающий защиту и утешение, и сохранность мира, в котором согбенные старики прозрачными пальцами водят по ветхим страницам, поют,

бормочут, раскачиваясь, и тени колышутся в такт, и мелодия эта бесконечна и стара, как эта улочка вдоль военной части, за которой арка, дом, двор, — все как было, все как было, и молитвенники лежат, развернутые на той самой странице, и куклы с вытарщенными пуговичными глазами, и лежащий на боку волчок под портняжным столом, — там мальчик сидит, прячась от наказания, там мальчик, обхватив руками плечи, сидит и видит все, о чем не смеют рассказать брошенные впопыхах вещи, — он просидит так долго, очень долго, пока не станет древним стариком с пыльным молитвенником, в котором истории, сплетаясь, поведают про овраг, тишину, спешку и неспешность, про дыхание, которого должно хватить до самого конца, про солнечный луч, полирующей вечность, стирающий следы, запахи, воспоминания, — оставляя единственное, пожалуй, — дорогу, которая не заканчивается никогда.

## Телефон

И потом, знаешь ли, телефонов не было.

То есть, они были, конечно же, — у других, на каких-то более благополучных этажах, — и бог ты мой, каким же чудом и благом казались повисшие в изнеможении трубки, — телефона ждали как Мессии, — вот проведут телефон, — мечтательно